

МАРИЯ ПУСТЫННАЯ,
или
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЬВА

Глава 1

Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками – ни с мишками, ни с зайцами. Не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку – ни собаку, ни хомяка. Только льва.

Его детская комната напоминала львиный питомник. Плюшевые, пластмассовые львы различных размеров валялись на столе и под кроватью. А на подушке лежал самый любимый – большой, светло-ореховый, с мягким туловищем, темно-желтой гривой и красным носом. Лев этот носил замечательное имя – Лев. Верный и умный, он смотрел на Гурия черными преданными глазами, вселяя в сердце ребенка чувство уверенности в себе. Поэтому Гурий не боялся оставаться в комнате один, даже когда мама откладывала книгу, выключала свет и уходила, не до конца закрыв за собой дверь.

Через щель в детскую проникала из коридора полоска света, в окне сияла луна. Поэтому в комнате можно было разглядеть многое: часы на стене, письменный стол с красками и бумагой на нем и самого Гурия, гладившего по жесткой гриве верного Льва.

По национальности Гурий был грек. Обрусевший грек, родившийся и выросший в Одессе. Его дед Ионос был священником, настоятелем здешнего греческого прихода.

Как известно, греки на территории Одессы обитали еще со времен Византии, даже раньше. Но особенно активно они стали заселять этот город в XIX веке, когда Одесса получила статус «порто-франко» и превратилась в зону беспошлинной торговли. Жестокие притеснения со стороны Турции тоже побуждали греков переселяться в царскую Россию.

В сталинские времена были разрушены многие и закрыты все греческие церкви в Одессе. Сталин греков не любил, занес их «в черные списки неблагонадежных инородцев», преследовал, ссылал, уничтожал в тюрьмах. Когда после войны власти сделали некоторое послабление для русской православной церкви, греческая по-прежнему оставалась в опале, долгий период находясь в положении катакомбной.

Дед Гурия, Ионос, истинный исповедник веры, всю жизнь нес свой тяжелый крест. Еще до войны он как священник был арестован, осужден и сослан. Выжил. Вернувшись из ссылки, работал сторожем на складе, чтобы избежать нового ареста и тюрьмы за «тунеядство». Но не сдался: организовал церковный приход и проводил тайные службы в катакомбах за городом и на дому. Он похоронен на Таировском кладбище в Одессе. Под черным гранитным памятником в виде церквушки, увенчанной крестом. Гурий родился через семь лет после смерти деда.

Имя это, достаточно редкое, ребенку дали в честь святого мученика Гурия: в эпоху становления христианства за исповедание новой веры он был подвергнут пыткам и обезглавлен в одном из городов Римской империи – в Эдессе. Дед Ионос особо чтит этого святого и на смертном одре попросил дочь, если у нее родится мальчик, назвать его Гурием. Что она и исполнила.

xxx

Откуда же взялась у ребенка такая любовь ко львам? Скорее всего, из патерика «Луг духовный» – одного из древних книжных памятников христианства. В нем собраны короткие истории – жития аскетов, которыми славилась необъятная территория христианского Востока Римской империи, особенно пустыни Египта и Палестины.

Эту книгу, где на обложке был вид из пещеры на бескрайнюю цветущую пустыню, ему читала мама. Наверное, читала не все подряд, а выбирала отдельные истории, потому что почти в каждой истории

рассказывалось не только о суровых подвижниках, но и о зверях – мулах, собаках, верблюдах. Но больше всего – о львах.

Львы пустыни – самые простые, но вместе с тем и самые загадочные существа. Их боялись путешественники и крестьяне. Но их не боялись аскеты. Впрочем, в отношениях аскетов со львами речь шла вовсе не о страхе, а о чем-то более значимом. Скажем, о пользе, о долге, о верности. О любви. Львы служили пустынным обычными вьючными животными, такими же, как мулы или ослы: они таскали кадки с водой или корзины с овощами. Верные стражи, львы охраняли монахов от разбойников и стерегли огороды. Они совершали и свои подвиги аскетизма – не ели мяса, питались только овощами. Львы плакали, как дети, когда им в лапы попадали занозы или когда у них воспалялись глаза. Жалобно скуля, приползали к монахам, чтобы те их лечили.

Случалось, конечно, что львы «срывались» – впадали в грех, проявляя свою звериную сущность – все-таки хищники: пожирали ослов, которых, по идее, должны были охранять; не довольствуясь бобами, приходили к аскетам с окровавленными мордами, поскольку загрызли перед этим птицу или верблюда. И аскеты в гневе били провинившихся львов веревками и прогоняли их прочь от себя. Обращались с ними не как с опасными хищниками, а как с дворовыми собаками. Гурий иногда тоже хлестал веревочкой своего мягкого Льва за то, что тот «согрешил».

Гурий плакал, слушая о том, как лев проникался к подвижнику такой страшной, холодящей душу любовью, что не мог пережить его смерть. И когда аскета хоронили в пустыне, где-нибудь возле лавры или пещер, преданный лев находил его могилу и ложился рядом, чтобы тоже умереть.

Таковы львы.

Может ли с таким львом сравниться хомячок или канарейка? Нет, конечно же, нет.

Лев смиренно лежал возле подушки, ожидая, когда Гурий вернется из садика, а потом, с годами, – из школы. За много лет он утратил звериные

черты, набивка вылезала наружу, в гриве зияли проплешины, особенно после того, как мама несколько раз подвергла его стирке.

Но он по-прежнему все понимал. Со Львом можно было поделиться самым сокровенным: пожаловаться на учительницу в школе за поставленную двойку, на соседку бабу Феню и ее веник, на родителей, которые опять поссорились и не разговаривают друг с другом...

Когда Лев уже покинул их дом навеки и очутился в одном из мусорных баков по причине абсолютной дряблости (плюшевые львы долго не живут), Гурий совершенно случайно наткнулся в одной книге на происхождение своего имени: Гур – на древнееврейском означает львенок, молодой лев.

Узнав это, Гурий едва не зарычал. Его сердца коснулся неведомый прежде холодок: в этом совпадении имен угадывался знак, что все происходит по воле Божьей и каким-то тайным образом уже предопределено.

Глава 2

Его мама, хоть и была дочерью столь мужественного отца, все же к церкви относилась сдержанно. Хорошо знала по отцовскому опыту, какие страдания может навлечь церковная жизнь. Не хотела такой же участи сыну. Она, конечно, чтит большие церковные праздники и даже пыталась учить Гурия греческому языку. Но, видя, с какой неохотой он отзывается на ее предложения приобщить его к семейным ценностям и как вообще старается избегать лишних нагрузок, перестала настаивать. Тем более, что с мужем у нее тогда были частые раздоры, в том числе, и из-за ее вялых попыток сделать сына «православным греком».

Но главной причиной было то, что с самого его детства было всем очевидно: у Гурия иная стезя в жизни.

Он был художником – по призванию и образованию. Окончил художественный институт, твердо решив посвятить себя живописи. Медленно восходил по ступенькам пусть не славы, так мастерства.

Снимал небольшую студию. Студия выходила окнами на море. Оттуда Гурий наблюдал закаты. В конце лета закаты в Одессе поражают насыщенной синевой, разлитой повсюду. А зимой небо и море тонут в каком-то сомнительном свинцовом свете...

Когда он писал новую картину, то «уходил в затвор». Его смуглые щеки быстро покрывались густой щетиной, пряди черных волос беспорядочно спадали на плечи. Каждое движение его длинных, жилистых рук, каждый жест были внутренне свободны, но и предельно точны. Весь измазанный красками, с кожей на ладонях, пересохшей от ацетоновой смывки, внешне – почти бомж, он ощущал в себе такую внутреннюю энергию, какая доступна только художнику во время работы!

У него была натурщица – Ирен. Она недавно окончила институт, получила диплом социолога и работала в центре по изучению маркетинга. Ее действительно звали Ирен, а не Ирина. Она уверяла, что, помимо украинцев и русских, в ее роду итальянцы и французы. Ну и, само собой, евреи. Словом, по национальности Ирен была одесситкой.

Ирен была исполнена удивительной пластичности, не той гимнастической или танцевальной, которая достигается упорными упражнениями, а пластичности аристократической, врожденной, доставшейся ей по наследству – не исключено, что от итальянских синьорин. Она была лишена суетливости; когда нервничала или сердилась, прикладывала к вискам свои ровные длинные пальцы и глубоко дышала, так, что приподнималась ее небольшая, но очень красивая грудь. Особую прелесть придавали ее лицу широко раскрытые карие глаза и большие, нежные, чуть розоватые веки, которые она умела так томно опускать.

Она обладала, как говорится, шармом и манерами. Правда, в ее натуре угадывалась практическая хватка, которая еще не успела развиться и перерасти в холодный прагматизм. Ирен не были присущи «ураганные

страсти», которые ее так привлекали в Гурии. Ее самолюбию льстило, что имя ее любовника становится известным, что его картины выставляются в галереях, несколько из них проданы за границу.

Лучшей натурщицы нельзя было и желать. Застыв, она терпеливо лежала, голая, на полу, застеленном одним брезентом, или, заложив руки за спину, до онемения мышц стояла у пустой стены.

Она приносила в студию еду для своего «затворника Эль Греко», как она его называла. Жалела его, когда, сидя у ее ног и положив голову ей на колени, Гурий страдальчески смотрел на неудавшийся рисунок, который он в сердцах заляпал краской.

В его картинах, в лучших из них, было видно несомненное дарование. Дарование многообещающее, но еще не раскрывшееся. У Гурия был сложный характер: в его душе уживались крайности. При всей своей устремленности ввысь он мог быть очень черствым; отрешенность от житейской суеты сочеталась у него с непомерным тщеславием; он хорошо владел техникой рисования, требующей кропотливого труда, но его снедала гордыня. Словом, это был один из тех талантов, которые могут развернуться во всей своей полноте, но чаще по разным причинам впустую растрачивают то, что имели.

В его дар верила мама, отдавая сыну все сэкономленные деньги из своей скромной зарплаты библиотекаря. Отец из семьи ушел. Душевной близости между сыном и отцом никогда не было. Человек, далекий от искусства, отец Гурия не понимал, чего ради сын так мытарится, когда открыто столько возможностей для бизнеса. Отец владел фирмой по продаже стройматериалов и выполнению ремонтных работ. Как бы то ни было, он нередко обращался к Гурию, чтобы тот помог ему в бизнесе и, когда сын соглашался, щедро ему платил. Отец втайне надеялся, что рано или поздно сын «поумнеет» и станет его бизнес-партнером.

Друзья по художественному «цеху» потихоньку расставались с искусством, уходили в коммерцию, а Гурий, упрямец, все колдовал над

холстом в своей студии, на съем которой едва хватало денег. Галерейщики за картины платили гроши.

И вот, словно с зимнего моря, в его студию стали накатывать волны меланхолии и сомнений. Чаще, чем прежде, Гурий возмущался тем, что имена бездарей с кисточками, но при деньгах и со связями, у всех на слуху. Временами он даже переставал верить в свое призвание.

Потом от него ушла Ирен, ушла к успешному галерейщику, который не раз обманывал Гурия с контрактами при покупке картин. Э-эх...

И с ее уходом в Гурии что-то окончательно надломилось. Его студию стали посещать бесы. Бесы на весь день затягивали окна шторами, опрокидывали банки со смывкой и ломали невытые кисти. Бесы тянули Гурия в рестораны, бильярдные и стриптиз-клубы. Стали приносить водку.

Однажды бесы привели Никиту. Никита когда-то учился вместе с Гурием в художественном институте, на факультете прикладного искусства, но бросил на третьем курсе и толком никем не стал. У него был странный голос – когда-то звонкий, но с годами сильно прокуренный. Теперь Никита в основном хрипел, но сквозь хрипотцу порой прорывалось тоненькое козлиное бляенье. Голова Никиты всегда была гладко, до блеска, выбрита, напоминая костяной бильярдный шар.

Никита принес – «для натюрморта» – героин и шприц.

И стал Гурий бандитом.

Глава 3

Он просиживал ночи в кабаках, гудел с братвой на дачах, на кораблях. Деньги тратил безумно, с такой же легкостью, с какой и добывал их. Ничего не осталось и в помине от прежнего Гурия. Для ресторанов он одевался с шиком, а когда «зависал» на наркотиках, то становился похожим на бездомного, вдобавок его отравленное опиумом тело источало резкий неприятный запах.

В бандитском мире у него была кличка Грек. Они грабили магазины, обкладывали данью бизнесменов. Знаменитый «Привоз» контролировала тогда грузинская мафия, но базар «Южный» отбила банда, в которой состоял Гурий. Со временем, однако, он переключился исключительно на арт.

Пожалуй, никогда прежде в Одессе не было такого бича для художников и галерейщиков. Всю ненависть за свою измену профессии и свое малодушие перед испытаниями Гурий обрушил на бывших собратьев-художников, а также на галерейщиков, арт-дилеров, даже на владельцев багетных мастерских, – словом, всех тех, кто каким-то образом был связан с живописью. Он знал, где, в какой галерее продаются хорошие картины, у какого художника покупают работы, в какой мастерской изготавливают качественные изящные рамы.

Иногда он совершал ограбление какой-либо галереи даже не ради выгоды, а из мести, чтобы удовлетворить свою ненависть. А порой мог организовать избиение какого-то успешного талантливого художника. Потом, пьяный, сидя в ресторане или стриптиз-клубе или на чьей-то квартире со шприцем в руке, он ощеривал рот, довольный, что все успешно прошло.

Катился Гурий по самой крутой наклонной, круче не бывает. Были и аресты, и баснословные деньги, потраченные на адвокатов, и не менее баснословные взятки следователям, и передозы от маковых головок. Были и скандалы с матерью, и «скорые помощи», и больницы.

Хоронил друзей. Того застрелили, того, пьяного, сбила машина. На Таировском кладбище, на могилах, пили, поминая погибших, клали цветочки: «Спи, брат-Князь, земля тебе пухом... Спи, брат-Чиж...»

Случалось, правда, крайне редко, что Гурий задумывался: а, может, и ему было бы лучше с ними там, в земле?..

Кстати, неподалеку от этих могил, на греческом участке, возвышался черный гранитный камень в форме церквушки под крестом. Дед... дед...

Исповедник веры Христовой. Тайные службы в катакомбах, как во времена гонений на первых христиан.

В детстве Гурий любил представлять, как где-то за городом в каменоломни спускается горстка людей. Там, под землей, в слабом свете фонариков и свечей, бородатый дедушка Ионос облачается в ризы. Затем ставит на подставку иконы, освящает кадилницу...

А потом дед – в черной робе зека и шапке-ушанке. Валит лес на Воркуте. И в ссылке, в Ижевске. И снова – в Одессе, с больными почками и слабым сердцем, после туберкулеза. И опять – катакомбы, и служение Христу. Дед дожил до тех дней, когда в Одессе наконец открылось Греческое подворье при Свято-Троицкой церкви. Успел там послужить. Там его и отпевали...

Вот бы сейчас стряхнуть Гурию все, как дурной сон, и пойти туда, к черному гранитному камню под крестом. Постоять там на коленях, поплакать.

Но не ходил туда Гурий. Не мог. А стоял у свеженасыпанных холмиков земли на могилах братков. И только косился порой в ту сторону, где была могила дедушки Ионоса.

Глава 4

Как-то раз Гурий с приятелями-бандюками и веселыми подружками отправился в Египет, на берег Красного моря, на знаменитый курорт Шарм-эль-Шейх. Загорал там с компанией на пляже, летал над морем на дельтаплане, курили гашиш через кальян.

А на третий день какая-то сила потянула Гурия, позвала. Покинув отель, в одиночестве пошел он туда, где в вечеряющем чернильном воздухе еще были хорошо видны очертания гор пустыни.

Удивительные горы – с перемечивым цветом склонов, от красно-бурого до дымчато-серого. Днем, в знойной дымке над затвердевшим песком, эти горы кажутся надвигающимся миражом, а вечером, в быстро

сгущающихся сумерках, они как бы оседают, обступив берег неприступными громадами. И жутко от их немoty и тысячелетнего безразличия к человеку...

Чего искал там Гурий? Что хотел найти в той холодной безмолвной пустыне?

Ползал Гурий по горам, взбираясь на крутые склоны. Толстый слой тысячелетней грязи трескался, разламывался под его сандалиями. Острые камни царапали ему ладони. Он падал, скатывался вниз, в какие-то глубокие ямы, провалы между гор, вершины которых касались небес, усыпанных яркими звездами.

Прислонившись спиной к еще теплой скале, закурив сигарету, весь в песке, измазанный грязью, смотрел Гурий на эти горы в слабеньком дрожащем темно-лиловом свете и чувствовал сердцем эту картину ночной пустыни – лучшую во Вселенной, ту, что доселе никем не была и никогда не будет написана, потому что Бог эту картину создал только для созерцания. И от неслыханного счастья и радости, переполнявших его сердце, от осознания того, что на земле есть такая Божья Красота, Гурий вдруг начал плакать...

– Р-р-р! – раздалось вдруг грозное рычание рядом.

Словно острые гвозди ударили его сзади. Гурий шарахнулся, отскочил в сторону. Через миг некая темная сила ринулась на него.

Тяжелый удар сбил Гурия с ног и повалил на землю. Кто-то стал рвать его спину, обдавая горячим дыханием лоб. Кто-то бил его по голове. Испутив истошный вопль, Гурий пополз вперед, чтобы вырваться из мощных лап. Выбрался на коленях, но снова был сбит ударом в спину. И снова его царапали когти, и рвали ему кожу, и били по голове, будто пытаясь содрать волосы. Он ощутил, как клыки вонзились в его левое плечо, и острая боль от разорванного сухожилия обожгла его до самых пят.

Он снова выполз, чувствуя на всем теле теплую липкую кашу – кровь, смешанную с грязью. Отталкивался локтями, стараясь убежать, карабкался вверх по камням, скатывался, и снова клыки впивались в него. Он кричал,

задышался, в глазах было мутно от крови и песка. Но горячее дыхание не отступало.

И тогда Гурий понял, что он не убежит от этого льва, что единственное спасение – драться. Уже обезумевший, пошел вперед, ударяя со всей силы кулаками эту рычащую массу куда попало: в гриву, в грудь, в морду. Потом снова попытался бежать...

Светало, первые лучи солнца стремительно разгоняли мрак. Гурий заполз в какую-то щель под скалой. Начал выгребать из-под себя песок, сооружая своего рода бруствер. Из ямы он видел только львиные лапы и изредка гриву, когда лев тыкался головой в бруствер. А Гурий все выгребал из-под себя песок, не переставая кричать охрипшим, сорванным голосом.

Вскоре солнце уже нещадно жгло пустыню. На пляжах под пестрыми тентами лежали отдыхающие, над морем летали дельтапланы. Дымились кальяны, из бутылок лилось холодное пиво и пепси.

А далеко, в тысячелетних горах, под одной из скал лежал Гурий в месиве из крови и грязи. Продолжал хрипеть и стонать от боли и ужаса, но выбраться из укрытия не решался.

Глава 5

В больнице – сперва в Египте, потом – в Одессе, ему сделали операции. Зашили разорванные сухожилия и раны. Со временем все срослось, затянулось. Только порой при смене погоды побаливало левое плечо под толстым длинным шрамом. Словом, тело вернулось в норму. А вот душа...

С душой творилось что-то неладное. Почему-то не радовался Гурий своему спасению в пустыне. А ведь мог и растерзать его тот молодой лев. Мог умереть Гурий и от потери крови, и от жажды – пролежал-то он под скалой целые сутки.

Гурия охватила тоска. Непонятная, неизъяснимая, поразившая все его естество. Завораживающий, божественный вид ночной пустыни то и дело

возникал у него перед глазами. А еще он нередко просыпался среди ночи, разбуженный странным звуком, похожим на гневное рычание льва...

Он ушел из банды. Стал абсолютно безразличен ко всему – к заработкам, к ресторанам, к наркотикам. Имевшиеся деньги растаяли очень быстро, за дорогую квартиру, которую он снимал, платить стало нечем. С поразительным безразличием, сопровождавшим теперь всю его жизнь, Гурий отказался от квартиры и переехал к матери.

Утром ел то, что готовила мама, и отправлялся бесцельно бродить по городу. Ни море, ни неповторимая одесская осень, своим очарованием, говорят, сравнимая лишь с осенью в Париже, ни разговоры с растерянной мамой, ни деньги отца – ничто не отзывалось у него в душе.

Однажды он встретил Ирен. Посидели с ней у фонтана. Ирен стала хозяйкой рекламного агентства, обеспечена, много путешествует. В свои тридцать пять лет, несмотря на развод и ребенка, не утратила свежести. Ирен не допытывалась, чем занимается Гурий, видя, с какой неохотой он рассказывает о себе. Она, наверняка, что-то слышала о его былых «геройствах».

Ирен была в чудесной форме. Ну, может, лицо чуточку округлилось, исчез тот восхитительный овал. И руки стали плотней. Но так же неотразима была ее тонкая шея, и так же розовы и нежны ее большие веки.

Гурию на миг почудилось, что прошлое можно легко вернуть. И мелькнул перед ним загрунтованный холст на станке, и спадающие на обнаженную спину волосы Ирен, и студия с окнами на море...

Гурий взял руку Ирен и стал легонько сжимать. Пытался ощутить ее живое тепло, кожу, цвет. Но рука Ирен была красива и холодна, словно из мрамора. Сейчас перед ним сидела холодная, расчетливая, совершенно чужая женщина...

Он иссох так, что одежда болталась на нем, в поясных ремнях появлялись все новые дырочки. Казалось, что эта тоска и отчаянье рано или поздно сожрут его, изложут изнутри. Что однажды он просто не встанет с

кровати – то ли от физической немощи, то ли от смертельной апатии. Или покончит с собой.

Однажды во время своих бесцельных блужданий по городу он встретил Фимку Ройзмана, с которым они вместе заканчивали институт и тогда приятельствовали. Ройзман в прошлом хорошо владел техникой письма, но его художественная мысль была слишком суха и рациональна. Впрочем, надо отдать ему должное – он вовремя понял, что живопись не его стезя, и по окончании института из «чистого искусства» ушел. А потом уехал в Штаты, и как там сложилась его судьба, Гурий не знал.

Теперь он – босс реставрационной компании в Нью-Йорке. В Одессу приехал в гости, что называется, отдать дань ностальгии, заодно и прощупать возможные варианты для бизнеса.

Зашли в кафе. Разговорились, повспоминали студенческие годы.

– Слушай, сделай мне рабочую визу в Америку. Возьми меня в свою фирму, я буду хорошим работником, – неожиданно попросил Гурий. И подумал: «Уехать куда подальше. Это единственный для меня выход».

Глава 6

Прошло несколько лет с тех пор, как Гурий приступил к работе в нью-йоркской фирме «Jeffrey Roysman's Restoration». Числился он реставратором, но это было слишком громким названием для того, чем Гурий в действительности занимался: по сути, фирма выполняла обычные ремонтные работы.

Порой попадались особняки более-менее интересные, где нужно было восстановить внутренний декор. Но чаще в современных зданиях приходилось работать в качестве обычного маляра, со шпателем и пульверизатором. Гурий не роптал.

Как бы там ни было, он имел некоторый опыт выполнения ремонтных работ, когда-то помогал отцу. Он также обладал хорошим художественным вкусом и, в общем-то, не был лентяем. По сравнению с прошлым гонора у

него заметно поубавилось, поэтому в его лице фирма приобрела ценного сотрудника. А взамен Гурию помогли с рабочей визой.

Он снимал небольшую квартиру, купил машину. Его не мучила ностальгия, он и в Одессе-то в последнее время чувствовал себя чужаком, пришельцем, попавшим в мир нормальных людей.

Часто звонил матери, однако в гости в Одессу не собирался. Мать тоже не настаивала, опасаясь, что, очутившись в родных краях, сын встретится с кем-либо из прежних дружков и возьмется, упаси Боже, за старое.

Словом, Гурий как будто выбрался на спасительный для него берег и успокоился.

Единственное, что напоминало об его незадавшемся художественном прошлом – это его упорное стремление избегать всего, связанного с живописью. В «столице мира» он ни разу не посетил Метрополитен-музей, который куда богаче одесских, тут и сравнивать нечего. Не бывал Гурий ни в этом музее, ни в других, менее знаменитых, но тоже с отличными коллекциями. Ни разу не вошел в залы аукционов «Сотбис» и «Кристис», где накануне торгов выставляют для общего обозрения картины и всяческий антиквариат. Не видел ни одной художественной выставки. Если случалось проходить мимо какой-либо арт-галереи, он ускорял шаг и не смотрел на зазывающие витрины.

Избегал всего этого Гурий, избегал, как яркого солнечного света.

xxx

Как-то их фирма подписала контракт на выполнение ремонтных работ в одной коптской церкви. Вернее, не в самом храме, а в некоторых подсобных помещениях. Там нужно было починить лестницы и пол, поменять оконные рамы и «подлатать» стены. Ремонт в том трехэтажном здании не делался, пожалуй, лет пятьдесят.

Гурий смутно помнил кое-что о Коптской церкви. Одна из старейших православных церквей, она возникла на заре христианства в Древнем Египте, входившем тогда в восточную часть Римской империи. Коптская церковь уцелела после захвата Ближнего Востока арабами и установления там ислама. В этих краях, в египетских и палестинских пустынях, жили великие подвижники и аскеты, там с неповторимой силой расцвело монашество, о чем поведано в той самой книге «Луг духовный», отрывки из которой когда-то читала ему мама. Там обитали львы.

Как-то раз, во время ланча, отказавшись от приглашения напарника идти с ним в буфет, Гурий решил детально осмотреть и храм, и все остальные помещения, где ремонт сейчас не делался.

Заглянул в церковь, интерьером напоминающую православные, разве что без иконостаса и подсвечников. В трапезной на столах лежали упаковки лепешек и стояло несколько бутылок пепси. Зал на втором этаже, судя по всему, использовали для детской школы. Гурий уже собрался было идти в буфет, но вдруг увидел лестницу, ведущую из коридора в полуподвал. Дверь в него была приоткрыта, за ней горел свет.

Гурий почему-то долго стоял в размышлении, не решаясь сделать ни шагу. У него возникло странное предчувствие, что там, за дверью, его ждет то ли спасение, то ли гибель. Будто бы там затаился убийца с ножом. Гурий невольно приложил ладонь к шраму на левом плече, к этой памятке, оставленной ему львом после той незабываемой встречи в ночной пустыне. Но, преодолев страх и повинувшись внутреннему зову, всё же спустился в полуподвал.

Он сразу не понял, где находится: небольшая комната с террариумами служила то ли кельей, то ли иконописной. В ней было несколько икон и мольбертов с палитрами, в углу ящерицы сутились за стеклом. Над ними склонилась смуглая женщина лет тридцати пяти, в сером платье, с непокрытой головой. Стояла на коленях и кормила с руки ящериц, разговаривая с ними на каком-то странном языке, звучавшем для Гурия как «аб-бр-рб...».

Увидев Гурия, она смутилась. Поднялась и, спохватившись, проверила, застегнуты ли на груди все пуговицы. Пригладила темно-русые волосы и лишь затем улыбнулась. Не зная, на каком языке поздороваться и догадавшись, вероятно, что Гурий – не ее соплеменник, не египтянин, сказала по-английски традиционное:

– Hi. How are you doing?

Сильный акцент слышался даже в этой ее одной короткой фразе.

– I am okay, thank you, – ответил он, оставаясь на месте.

Ждал, что она попросит его удалиться – все-таки восточные нравы, поди знай, как у них там, – что можно, а что нет. Тем более, столь деликатная ситуация: незнакомый мужчина наедине с женщиной, и не где-нибудь – в подземке или в «Макдоналдс», а в церкви. И, скорее всего, она не простая уборщица, а монахиня. Так что, наверняка, сейчас она вежливо попросит его уйти. Потом станет на колени и начнет истово креститься, чтобы изгнать из памяти опасное видение: высокого бородатого мужчину в рабочем комбинезоне.

– Хотите войти? – неожиданно спросила она.

– Да, – он сделал шаг вперед.

– Меня зовут Мариам, – сказала она. Руку для пожатия, однако, не протянула.

– А меня Гурий.

– Гурий? О, вы носите редкое имя святого мученика Гурия? Наверное, это очень трудно – жить с таким именем, постоянно помня о высоком долге. Проходите, не стесняйтесь. Присаживайтесь, – указала ему на стул.

Она тоже села на стул напротив Гурия. К ней на колени тут же вспрыгнула кошка и улеглась поудобнее; женщина сразу стала гладить ее по спине.

– Гур, гур... – женщина нахмурилась, словно пыталась припомнить что-то, даже щелкнула своими длинными пальцами с ненакрашенными ногтями. – Лев! На древнееврейском Гур – это лев, правда?

– Да, лев. Молодой лев, – ответил он, поражаясь познаниям Марии, так быстро припомнившей и мученика Гурия, и даже перевод слова с древнееврейского.

– Я слышала, что вы делаете ремонт в нашем здании. Авва Серапион очень доволен вашей работой.

Судя по всему, ее английский был ограничен, поскольку в разговоре она обходилась самыми простыми словами. Но это облегчало им общение, во всяком случае, Гурию не нужно было напрягаться, чтобы понять ее речь, как это происходило в разговорах с американцами.

Из окошка в комнату проникал голубовато-серый свет. Хотя день был пасмурным, а в комнате горела лишь одна настольная лампа, Гурий все же смог хорошо рассмотреть Мариам.

У нее было одно из тех редких лиц, которые при слабой мимике отличаются постоянной изменчивостью и богатством выражений. Густые темные волосы расчесаны на прямой пробор. Ресницы – короткие, разрез карих глаз – красивый, но посажены они чуточку слишком глубоко. Нос – тонкий, анфас кажущийся ровным, но в профиль – с небольшой горбинкой. И вот эти легкие неправильности и делали ее лицо удивительным. При самом малом повороте или наклоне головы его выражение тут же менялось. Лицо это казалось то совершенно спокойным, умиротворенным, то вдруг – строгим, едва ли не суровым, то – робким, застенчивым.

Роста она была чуть выше среднего. О фигуре было трудно судить, поскольку на Мариам было длинное, свободного края платье, подол которого касался ее босых ног.

Узнав, что он православный, из Одессы, Мариам обрадовалась. В Украине она, правда, никогда не бывала, но когда-то во время своего паломничества в Иерусалим познакомилась с православной монахиней из Киева, которая обучила ее нескольким фразам: «Слава Бох» и «Я тибья люплю».

– Я правильно произнесла? – спросила она.

– Да, вы произнесли превосходно, – он одобрительно поднял вверх кулак с разогнутым большим пальцем. – Вы монахиня?

– Нет, я послушница. Живу в монастыре в Египте, выполняю там разные поручения, но монашество не приняла – пока недостойна, – улыбнувшись, Мариам сбросила кошку на пол и поднялась, давая Гурию понять, что на этом их встреча закончена.

– Вы пишете иконы? – вставая, он кивнул в сторону мольбертов и трех столиков, стоявших в ряд у стены и явно предназначенных для иконописи.

– Да.

xxx

Он стал к ней часто наведываться. Во время ланча, а иногда и после работы, едва успев помыть руки и лицо. Помногу и подолгу они с Мариам не разговаривали, она часто бывала чем-то занята и еще, по-видимому, старалась ограничивать себя в праздных разговорах. Гурий скупой рассказывал о себе, больше расспрашивал Мариам о ее жизни.

И узнал он следующее: Мариам – египтянка, родом из Александрии, выросла в благочестивой коптской семье, училась в институте на историка. По окончании института вышла замуж за состоятельного человека и нигде не работала, а занималась «самосовершенствованием». Но из-за своей, как она выразилась, взбалмошной и бунтарской натуры бросила мужа и долгие годы жила very bad. Говоря о своем прошлом, Мариам всегда употребляла только эту фразу – «вери бэд», и при этом так сокрушенно качала головой, что Гурий с трудом сдерживал улыбку. Уж кто-кто, а он-то знал, что такое «вери бэд». Трудно было себе представить, что же могла натворить эта тихая, застенчивая женщина, чтобы потом так сокрушаться.

Затем она всерьез обратилась к религии. После путешествия с группой паломников в Иерусалим по святым местам решила «поднять планку еще выше» и ушла в монастырь. Живет в женском коптском

монастыре, на окраине Каира. А в Нью-Йорк приехала совсем недавно: у аввы Серапиона – настоятеля этого храма, в прошлом месяце умерла жена; кроме того, в здании делают ремонт и открыли воскресную школу для детей, а учителей не хватает. Соответственно, понадобилась ее помощь.

В этом году на Великий пост она собиралась удалиться в пустыню, чтобы совершить там подвиг безмолвия.

– Увы, обстоятельства помешали: в этот раз Великий пост придется провести в Нью-Йорке. Зато следующей весной, надеюсь, все получится. – Она вдруг устремила взгляд на икону, висящую на стене. Подвела к ней Гурия.

На иконе была изображена женщина неопределенного возраста в темном плаще, с поднятыми для благословения руками.

– Это Мария Египетская – великая грешница, ставшая великой святой. Как бы я хотела быть похожей на нее... Знаете ее историю?

xxx

«Преподобная Мария Египетская жила в VI веке. Родом была из Египта. Когда ей исполнилось двенадцать лет, она своевольно покинула родительский дом, ушла в Александрию, бывшую тогда столицей Египта. И долгие годы предавалась там разврату, причем не столько ради денег, сколько ради удовлетворения похоти и пристрастия к распутной жизни.

Однажды, когда ей было двадцать девять лет, она присоединилась к группе паломников, направлявшихся из Египта в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста. На корабле она тоже блудила, как продолжала блудить и попав в Иерусалим. Когда же она вместе со всеми попыталась войти в церковь, какая-то сила не позволила ей это сделать и отбросила ее назад. Она попыталась снова, но незримая рука продолжала отбрасывать ее от храма под общий смех и укоры окружающих.

Смущенная, стояла Мария на площади, среди толп благочестивого народа, до тех пор, пока глаза ее не открылись и она не увидела всю

мерзость своей жизни. Мария залилась покаянными слезами, и тогда вход в храм ей был разрешен.

После этого она возжелала глубокого, истинного покаяния. И услышала глас, велевший ей идти в пустыню, за Иордан, и там искать спасения. На следующий день, взяв с собой лишь три хлеба, Мария перешла реку и исчезла в пустыне...

Вскоре все хлеба были съедены, ее одежда истлела и распалась. Страшные искушения она претерпевала первые семнадцать лет. Ходила нагой, под палящим солнцем и ледяным ветром, питалась кореньями и злаками, терпела всевозможные телесные и душевные мучения. В пустыне она прожила сорок семь лет.

Почти перед самой кончиной Марии ее увидел старец Зосима, пресвитер, живший в одном палестинском монастыре. Во время Великого Поста старец Зосима покинул обитель и отправился в пустыню, где иноки в одиночестве проводили весь Пост.

Старец встретил преподобную Марию, которая поначалу хотела скрыться от него, но, упрощенная, осталась для беседы. Он дал ей, нагой, плащ. Она рассказала ему всю свою жизнь. Зосима поразился, когда Мария, не зная его прежде, назвала его по имени. И другие чудесные явления поразили старца: во время молитвы Мария на локоть приподнялась над землей, перешла Иордан «яко по суху», предсказала Зосиме его недуг в следующем году.

Он видел ее еще дважды: через год, тоже на Великий Пост, когда по ее просьбе он принес в пустыню Святые Дары, и Мария причастилась; и в последний раз – уже мертвой: она лежала в месте их первой встречи, предсказав за год свою смерть.

Зосима оросил ее ноги слезами, пропел над нею псалмы, однако колебался, где похоронить праведницу. Но увидел начертанную на песке надпись, где Мария просила похоронить ее здесь же, в пустыне.

Зосима пытался выкопать могилу, но не смог: он был слишком стар, а земля очень тверда и камениста. Внезапно откуда-то из пустыни явился лев. Вырыл лапами яму. И тогда старец предал тело Марии земле».

.....

Этот пересказ жития Марии Египетской Гурий перечитал несколько раз. В истории великой святой забрезжил для него огонек надежды.

xxx

Он продолжал приходить к Мариам. С красными от мела и пыли глазами, с пятнами побелки на лбу и в бороде. Вены на его руках были вздуты от постоянных нагрузок, плечи под рубашкой утомленно опущены. Реконструкция зданий – не игра в бильярд или карты.

У стены в ряд стяли три столика для иконописи. На столиках лежали загрунтованные доски, палитры, кисточки и карандаши.

Мариам обучала иконописи всех желающих, это мастерство осваивали прихожане разного возраста, и мужчины и женщины. Перед каждым стояла копия одной и той же иконы Марии Египетской, но у каждого святая выглядела совершенно по-своему.

Во время разговоров с Мариам Гурий порой с мучительной завистью поглядывал в сторону тех начинающих иконописцев. Пару раз Мариам и ему предлагала попробовать себя в этом искусстве, тем более что знала со слов Гурия об его художественном прошлом. Он каждый раз отказывался, переводил беседу на другую тему.

Но однажды он подошел к столику, взял из стакана стоявшую там кисточку, поднес ее к своему лицу и поцеловал ее гибкий кончик.

– Вот и хорошо. Наконец-то. Я знала, что это рано или поздно случится, – сказала Мариам, не сводя с него глаз. Она пыталась понять, что сейчас с ним происходит и отчего он едва ли не дрожит от воления.

XXX

Ремонтные работы в «коптском подворье» (так Гурий называл тот храм с пристройками) были закончены. Но в условленные часы, дважды в неделю, он приходил туда писать икону. Случалось, что в комнате вместе с ним сидели другие начинающие иконописцы, а порой он там оставался наедине с Мариам.

День за днем икона открывала Гурию свои необъятные пространства, впуская его в свои владения...

Глава 7

Весенний Нью-Йорк быстро расцветал. Едва ли не на глазах распускались магнолии, вишневым и яблоневым цветом покрывались сады и парки.

Фимка Ройзман отмечал свою сорок первую весну. Дата хоть и не круглая, но ради нее был заказан стол в «Гамбринусе» – заокеанском филиале одноименного знаменитого одесского ресторана.

Фимка-Джеффри, хоть и американизировался, в душе оставался одесситом. Имея богатый опыт знакомства с кухнями народов мира, в итоге пришел к заключению, что нет лучшей кухни, чем одесская с ее коронными блюдами: фаршированной рыбой, баклажанной икрой и вареными раками к пиву. Все это и многое-многое другое было заказано в «Гамбринусе» и подавалось к столу.

На стенах ресторана красовались рыбачьи сети и рынды, столы были в виде бочек, звучал одесский «шансон». Словом, все отвечало высшим стандартам русского ресторана в Нью-Йорке, где аромат блюд отдает легкой ностальгией.

Гурий тоже был среди приглашенных. Ел салаты, лушил раков. В общем, ничего особенного, обычные ресторанные посиделки.

Необычной была встреча: в зал вошел не кто иной, как Никита, собственной персоной. Бывает же такое! И где? В Нью-Йорке! За тридцать земель от Одессы! Вот это да!

Все трое – Фимка, Гурий и Никита – земляки, бывшие студенты одного института, стояли в центре зала, хлопая друг друга по плечам. Повторяли неизбежное в таких случаях: надо же... вот так встреча...

Никита был не один – с небольшой шумной компанией. Он как-то огрубел, заматерел за эти годы. Голос его оставался таким же – прокуренным, с прорывающимися звонкими нотками. И смех такой же – козлиный. Как осталась неизменной идеальная выбритость круглой головы, напоминавшей костяной бильярдный шар. Зато некая уверенность и твердость появились в его осанке и жестах. А на руках – новые татуировки.

Вскоре все трое вернулись к своим столам, условившись поболтать попозже, времени еще – целый вечер.

...– Да, брат, вот так складывается жизнь: сегодня ты супермен, а завтра – кусочек дерьма в Черном море, – веско произнес Никита, когда они вышли с Гурием из ресторана на улицу освежиться.

Никита относился к тому типу людей, которые в свою болтовню любят вплетать якобы мудрые фразы: жизнь – это русская рулетка, судьба всех сломает, начало может стать и концом, и т. д.

С Гурием он был откровенен. Да и кого ему стесняться? Мало ли он с Греком «делал делов» в Одессе? Мало ли они ограбили галерей и арт-салонов? Мало ли выколотили денег из жертв? Вместе они как-то раз шли по одному делу, сидели в разных камерах в КПЗ. Грек тогда держался бойцом, никого не сдал.

Но с грабежами и рекетом районного масштаба покончено, время уголовной романтики ушло. Никита нынче работает на международном уровне: через Одессу удобно сплавлять за бугор паленый антиквариат. Можно вывозить через Турцию или Египет, а можно через Болгарию или Румынию. Визы туда не нужны, таможни там слабые, можно дать взятку. А оттуда уже легче все переправить в Западную Европу или Штаты.

Словом, Никита занимается контрабандой. Имеет тачку, бабло, полный вагон блядей, хату прикупил. В общем, живет жизнь. «Да, конечно, опасно. Но, сука, что поделать? Бабло на халяву не дается». Никита оттянул футболку, и Гурий увидел две глубокие огнестрельные раны на его правом плече.

– Вот так, старик. Можно сказать, работаю по специальности. А ты чем занимаешься? Что? Малярничаешь? Пишешь иконы? Ну-у, бро... Так у тебя, гляжу, жизнь хуже моей. Я-то думал, что ты живешь жизнь, а ты... И стоило ради этого уезжать в Штаты? Ты ведь на идиота не похож, извини за прямоту.

Вертя в пальцах зажигалку, Гурий вяло поддерживал разговор. Пожалел, что сейчас перед ним Никита, а не кто-либо из знакомых одесских художников.

А Никита говорил, не умолкая:

– А бандюгана Грека Одесса еще долго будет помнить. Если в городе откроют музей бандитской славы, я первый отвалю бабла, чтобы имя Грека выгравировали на золотой табличке. Вот так, судьба любого сломает. И тебя сломала, опустила в канализацию. А иконы, брат, может писать любой дурак, даже я. Если поумнеешь и захочешь к нам, в бизнес, звони, пиши в любое время. Чуть что, замолвлю за тебя словечко. Нам проверенные люди нужны, тем более, с американскими корочками и опытом работы. Вот номер моей мобилы.

Глава 8

Несколько слов о рептилиях в келье Мариам: ящерицы в двух больших террариумах ей достались «по наследству» от умершей жены настоятеля этого храма. По всему было видно, что Мариам следит за ящерицами с большой охотой, знает, как с ними обращаться, и получает от этого удовольствие.

Она подходила к террариумам, осторожно отодвигала пластмассовые крышки с вмонтированными в них яркими лампами, затем из банки, стоявшей рядом, вынимала щепоть кузнечиков и бросала ящерицам. Ящерицы устремлялись к кузнечикам и проглатывали их в мгновение ока.

– Ешьте, обжоры. Но имейте в виду: скоро начнется Великий пост, тогда и вам тоже придется поголодать, – говорила она серьезным тоном.

Порой она вынимала из террариума какую-нибудь ящерицу, клала ее себе на руку и начинала гладить. Ящерица, приподняв голову, закрывала глаза, словно от наслаждения.

– Не знал, что у ящериц есть мозги, – однажды заметил Гурий, наблюдая, как блаженствует ящерица на руке у Мариам.

– Чтобы чувствовать, что тебя любят, мозги не нужны, – ответила Мариам.

Они сейчас были в комнате одни, и Гурий решил проделать «эксперимент». Он достал из террариума еще одну ящерицу и, легонько сжав ее в кулаке – так, чтобы не задушить, подошел к столику, за которым писал икону. Ослабил хватку, выпуская ящерицу на предплечье своей согнутой руки. Но ящерица, не удержавшись, соскользнула с нее и упала на стол. Стремительно промчалась по столу, по карандашам и кисточкам, и быстро вскорабкалась на доску с недописанной иконой. Застыла на краю доски, свесив хвост.

Гурий пристально всматривался в нее. Ящерица оставалась абсолютно неподвижной, только у нее на горле от дыхания едва заметно двигалась шкура. И от этих чуть видимых слабых движений Гурию вдруг почудилось, что и женщина, изображенная на иконе, тоже шевельнулась, что она сейчас выйдет к нему!

У него помутилось в голове, по всему телу пробежал странный холод. Он отступил на шаг.

Затем как-то напрягся, будто готовясь к прыжку или к удару. На его лице отразилось внезапно охватившее его сильное волнение. Он вдруг странно замахал поднятыми руками, как обычно машет передними лапами

животное. Затем решительно взял со стола чистый лист бумаги, прикрепил его кнопками к мольберту и начал делать какой-то эскиз карандашом.

Его движения были резкими, но выверенными, будто бы заранее продуманными. Порой, отложив карандаш, Гурий каким-то неестественным шагом ходил по комнате. Снова «бил лапами» в воздухе и мотал головой, даже пару раз зарычал. А потом снова брался за карандаш, продолжая работу над эскизом.

Он рисовал льва – молодого, умного, прекрасного льва. Он не обращал внимания на Мариам, сидевшую на стуле с ногами и заворуженно наблюдавшую этот необычный процесс творчества.

Глядя на возникающий на ее глазах эскиз, Мариам все сильнее желала, чтобы Гурий написал и ее. Да, ее – лежавшую рядом с этим могучим, красивым львом, гриву которого ей уже давно так хочется погладить...

Глава 9

Его уже знали в храме и некоторые прихожане и священник авва Серапион – очень высокий, наверное, под два метра ростом, седобородый, одетый обычно в черную, до пола, рясу. Однажды авва Серапион, глянув на бороду Гурия, пошутил, что, возможно, в недалеком будущем их бороды сравняются не только по длине, но и по цвету. И добавил, что свою он в черный перекрашивать не собирается. А еще священник поблагодарил за работу – ему почему-то особенно понравились новые лестницы и оконные рамы. Он знал, что Гурий пишет икону, поэтому не удивлялся его появлениям здесь.

Иногда Гурий приходил немного раньше положенного времени, а порой Мариам бывала занята – то уборкой помещений, то делами по школе, где преподавала коптский язык и историю. Просила Гурия подождать. Случалось, что время писания иконы совпадало с очень важной службой в храме, на которой Мариам непременно нужно было присутствовать.

Словом, Гурий стал заходить и в храм тоже, бывать там на службах.

По его наблюдениям, у коптов богослужения чем-то похожи на русские или греческие православные. Однако и немало отличий. Скажем, в коптском храме все обязательно снимают обувь. Много общих песнопений. Молящиеся, осенив себя крестным знаменем, целуют свои пальцы с обеих сторон, потом касаются друг друга сложенными лодочкой ладонями и после прикосновения тоже их целуют.

Женщины – строго в правом крыле, в косынках. Зачастую сидят, уткнувшись лицом в спинку стоящей впереди скамейки и прикрыв его рукой.

Священник – в белом; размахивает кадиланицей так широко, так ловко, что она летает над престолом, будто мяч. Впрочем, быть может, такой стиль каждения – особенность аввы Серапиона, который во время службы внешне прост, почти беззаботен, но внутренне предельно сосредоточен. Впечатление, словно два человека в одном: внутренний – самоуглубленный, и внешний – свободный, простой. Ходит широкими шагами по храму, размахивая кадиланицей, прикладывает крест к головам прихожан...

Сидя на скамейке, Гурий слушал эти заунывные напевы, вдыхал благовония. Мужчины рядом протягивали ему сложенные лодочками ладони, и Гурий в ответ делал то же самое. Становился на колени, часто, очень часто. Шел Великий пост, поэтому поклонов – земных и поясных, было много.

Мариам сидела в дальнем углу справа, в женском крыле. Подолгу замирала, опустив голову в платке на спинку впереди стоящей скамейки, прикрыв лицо рукой. Гурию казалось, что она плачет и ему почему-то хотелось увидеть ее заплаканное лицо...

Гурий вспоминал.

Вспоминал, как в детстве причащался Святых Даров, на Рождество и Пасху. Как мама готовила его к исповеди. Говорила, что ангелы будут слушать все, что он расскажет священнику. А потом об этом узнает Бог. Если Гурий расскажет обо всем, что сделал плохого и пообещает

исправиться, то ангелы будут радоваться. А если он что-либо утаит, то ангелы и Бог будут плакать.

Все это было так сложно и так важно, что, по совету мамы, Гурий записывал все на бумажке, заворачивал эту бумажку в конфетную фольгу и перед сном прятал под подушку или привязывал веревочкой к спинке кровати. Писал там о многом: о том, что убил жука и «разобрал его на кусочки, чтобы посмотреть, как он устроен»; что опять разрисовал в квартире стены красками и фломастерами, и хотя он не считает это грехом, но родители почему-то сердятся. Иногда в конце списка добавлял и несколько львиных проступков, намереваясь рассказать священнику и про грехи Льва, который рядом с Гурием тоже горько плакал и признавался, что сожрал мула, но больше так не будет...

И ему порой казалось, что рядом, у самого изголовья, стоит его дед Ионос. Как на фотографии в семейном альбоме. Дед, вышедший из катакомб, из того черного гранитного камня на кладбище. Слушает внука, подсказывает, что добавить к тому списку. Гладит по голове теплой ладонью. «Гури, Гури. Да благословит тебя Бог наш...»

А еще Гурий почему-то припомнил один эпизод из своей давней поездки в Рим, еще в то благословенное время, когда он в Одессе занимался живописью.

Он сидел у колонны на площади Святого Петра, неподалеку от знаменитого собора. Ноги у него гудели от долгой ходьбы по Вечному городу, от посещения многочисленных музеев, соборов и древних развалин. Рядом с ним на землю сел какой-то молодой бородатый монах в рясе темно-орехового цвета. Монах тоже прислонился спиной к мраморной колонне и устало вытянул обутые в кожаные сандалии ноги. По всему было видно, что они гудят от колоссальных нагрузок точно так же, как у Гурия. Потом монах достал из кармана рясы булку и начал кормить слетевшихся к нему голубей.

Разговорились (оба сносно владели английским). Монаха звали Дамиан, он францисканец, приехал в Вечный Город из Перуджи.

– Каждый раз приезжаю сюда, и каждый раз переживаю настоящее потрясение, – говорил Дамиан, отрывая кусочки булки и бросая птицам. – Снова и снова убеждаюсь в том, что только смирение спасет мир. Вот вам пример: перед нами собор Святого Петра – один из самых знаменитых соборов на земле. Взгляните на эту очередь – несколько тысяч человек стоят с раннего утра под палящим солнцем, чтобы туда попасть. И завтра, и послезавтра повторится та же картина. А теперь задумайтесь: в честь кого назван этот собор, эта площадь, и еще сотни и тысячи других соборов, площадей и городов по всему миру? В честь простого, малообразованного рыбака.

– Но апостол Петр отрекся от Христа, – задумчиво произнес Гурий.

– Да, трижды отрекся. Но он же потом и раскаялся и после этого стал первоверховным апостолом. Милость Божья безбрежна...

Они еще недолго поговорили и расстались.

Казалось бы, случайная встреча, короткий разговор под голубиное воркование, а вот почему-то врезалось в память.

И сейчас, слушая эти песнопения на чужом ему коптском языке; преклоняя колени вместе с незнакомыми ему мужчинами и женщинами в чужом, по сути, для него храме; подставляя голову под крест, Гурий впервые пересматривал всю свою жизнь.

В страшной мерзости и грязи видел он теперь свое бандитское прошлое. Возникали перед его глазами люди с перекошенными от ужаса лицами. Люди, когда-то избитые им, изувеченные, отвезенные на «скорой» в больницы. И видел перед собой Гурий чьи-то холсты с чудесной живописью, которые он уничтожил собственной рукой, терзаемый завистью, гордыней, ненавистью к себе. И вспоминал он женщин – проституток, ресторанных девок, с которыми обходился одинаково: унижал, тянул за собой в еще больший разврат.

И думал теперь Гурий: почему же его, дрянь этакую, Бог так жалел? Почему столько раз отводил от него пулю? Почему спасал от передоза? От СПИДа? От тюрьмы?

И добрый дед Ионос, и ангелы, и великие художники Возрождения, и мама, и Лев, и монах Дамиан, – все смотрели на него. И совращенные им женщины, и ограбленные им и избитые люди, и их дети, и жены, и Христос – обступив кругом, смотрели на него, стоявшего на коленях, с низко опущенной головой...

Глава 10

Да, многое менялось в жизни Гурия, в том числе и... Мариам. Все в ней теперь было исполнено женской нежности. Ее лицо, ранее казавшееся ему простоватым, лишенным утонченности, часто строгим, незаметно преобразилось. Ее темные глаза, искривленный нос, мягко закругленный подбородок – каждая черточка теперь была напоена негой. Ее глубокие темные глаза звали, манили, завораживали. Гурия все сильнее волновал оливковый оттенок ее кожи.

Мариам была трогательно прекрасна, когда, встав на цыпочки, зажигала лампы. Он не сводил с нее глаз, когда она, босая, двигалась по своей келье или трапезной, где готовила еду и убирала. Он не мог отвести от нее взгляда, когда она, став на колени, кормила ящериц. Широкое, свободного покроя платье не скрывало ее прелестных форм.

Он видел, что и Мариам ждет от него чего-то, волнуется без явной причины; что во время писания иконы она проводит с ним времени куда больше, чем с другими своими учениками; старается сделать так, чтобы он оставался в ее келье подольше и не уходил.

xxx

Как-то раз, в августе, Мариам неожиданно попросила его свозить ее к океану – она соскучилась по волнам, ветру, песку.

Гурий выбрал один дальний пляж, такой, как просила Мариам: чтобы вокруг поменьше людей и – ни шума, ни барбекю.

Когда они приехали, на берегу оставалось лишь несколько человек, да и те, по всей видимости, собирались уходить. За годы жизни в Нью-Йорке Гурий успел полюбить тот берег залива, где, в силу удаленности от города, было всегда малоллюдно.

Мариам сняла туфли и теперь ступала по песку босиком. Несла в одной руке туфли, в другой – букетик собранных цветов. Несколько раз поднесла их к лицу. Неожиданно остановилась:

– У нас возле дома когда-то росли цветы. Они пахли точно так же, как эти... – и, вздохнув, пошла вперед.

Солнце медленно спускалось к горизонту. Над водой в поисках поживы летали редкие чайки и альбатросы, но большинство птиц уже грелись в теплых песочных ямках.

Йодистый запах щекотал ноздри Гурия, ветер трепал его длинные волосы. Сидя на песке, он смотрел на Мариам: она, слегка приподняв подол длинного светло-серого платья, приблизилась к воде. Взяла камешек и бросила в воду. К ней слетелись чайки, видимо, ожидая, что сейчас их покормят.

Гурий пересыпал песок из руки в руку, глядя на Мариам.

Вот она, откинув назад прядь волос, побежала по воде вдоль берега, больше не заботясь, что намочит платье. Наклонившись, подняла краба и бережно отнесла его обратно на глубину. И чайки за нею летят, глупые, ждут, что она кинет им чего-нибудь на поживу, того же краба.

Затем она взобралась на камни волнореза и, протянув руки к заходящему солнцу, на миг застыла. И так хорошо, наверное, ее ногам от холодных камней. Чайки над нею, кружат и так кричат, что даже до него, до берега, доносятся их крики.

– Ах, какая сильная картина! – Пальцы Гурия сами задвигались, очерчивая рамку. Он поднял руку и, прищурившись, мысленно заключил фигуру стоявшей на волнорезе Мариам в пространство между своим

согнутым большим и указательным пальцем. – Обязательно напишу ее. –
Затем, поднявшись и отряхнув джинсы, направился к ней.

Уже смеркалось. Багровый пылающий краешек солнца готовился исчезнуть за горизонтом.

Мариам теперь стояла по щиколотку в воде, бросала туда камешки.

– Хороший вечер, – сказал он, остановившись у нее за спиной.

– Да, чудесный, – она резко повернулась к нему лицом.

Гурий не успел заметить, как случилось, что в него полетели брызги. Мариам, засмеявшись, снова плеснула в него водой.

– Ах, так! – воскликнул он. Войдя в воду по колени, зачерпнул пригоршню воды и тоже брызнул в нее.

Они стали бешено обливать друг друга водой, сопровождая это ребяческое занятие криками и хохотом.

...Мариам прижалась к нему. Гурий крепко обнял ее, стал целовать в мокрое, соленое лицо, в шею.

– Люби меня, целуй! И здесь целуй, и здесь... Раббах-дивар-ранам...

.....

Они сидели на теплом песке, на ночном безлюдном пляже. На их голые плечи были наброшены строительные спецовки, которые Гурий принес из своей припаркованной неподалеку машины. Сквозь монотонный гул прибоя порой прорывалось щебетание птиц.

– Я на всю жизнь запомню тот день, когда ты стоял у мольберта с карандашом в руке и рисовал льва. Помнишь?

– Да.

– О, это было для меня настоящим чудом. Я тогда поняла, что люблю тебя. Слава Бох, я тибья люплю, – повторила она на ломаном русском. Затем осторожно прикоснулась к его волосам, провела рукой по его бороде, словно желая убедиться, что это не сон.

Потом она легла на песок, вытянувшись и подняв руки к ночному небу:

– Знаешь, когда-то в детстве я часто представляла себя, заблудившейся в пустыне. Ложилась дома на пол, закрывала глаза и представляла, что вижу вокруг змей, львов, орлов.

Слушая ее, Гурий взял ее стопу, бережно стряхнул с нее песчинки и стал разминать ее пальцы.

– А еще я хочу, чтобы ты меня рисовал. Только меня одну и никого больше. Обещаешь?

– Да.

– Я буду и твоей верной женой, и твоей натурщицей. Ни одна женщина на земле не сможет быть для тебя лучшей натурщицей, чем я. Слышишь? Твои картины будут выставляться в самых престижных галереях. Ты мне веришь?

– Да, верю.

Он поднес ее стопу к своему лицу и стал целовать кончики ее пальцев.

– Когда-нибудь ты напишешь картину, как я стояла на волнорезе и как кормила чаек. Ты же понял, что я тебе позирую, правда?

Высвободив свою ногу из его рук, Мариам села. Вдруг оттолкнулась руками от песка и поднялась. Стала перед Гурием, сбросив с себя спецовку, оставшись совершенно обнаженной.

Напевая какую-то восточную мелодию, она стала ходить перед ним, выразительно виляя бедрами и щелкая пальцами, исполняя какой-то танец. Подходила к Гурию совсем близко и наклонившись, протягивала к нему свои руки, зазывающе шевеля пальцами:

– Брах-рам, ба-раб-ха. Давай, Гур, давай!

Гурий поддержал ее игру: став на четвереньки, начал ползать за Мариам по песку, забавно рыча:

– Р-р! Р-р!

На следующий день машина Гурия остановилась неподалеку от знакомого коптского храма. Он вытащил из багажника две большие только что купленные сумки, чтобы сложить в них вещи Мариам.

...Мариам впустила его в комнату. К удивлению Гурия, он не увидел там ожидаемого беспорядка, который обычно сопутствует предотъездным сборам. Все здесь было на своих прежних местах: столики для писания икон, полка с книгами, раздвинутая ширма, за которой стояла кровать. Словом, никаких изменений.

Только у иконы Марии Египетской горело почему-то много свечей, и в комнате сильно пахло воском.

Мариам держала на руках кошку. Она была спокойна, но выглядела уставшей. Смотрела на Гурия в упор.

– Я знала, чем это закончится. Мне говорили, что я не должна видеться с тобой; и авва Серапион говорил это, и игуменья, и все остальные. Но я никого не слушала.

Гурий хотел что-то сказать, но она перебила:

– Я буду гореть за это в огне. Бр-ра! Гх-рам, риш-хем... – перешла на коптский. – Уходи. Забудь все, что было вчера. Я все тебе наврала, я тебя никогда не любила. Мне просто захотелось мужчину, просто нужно было трахнуться, неважно с кем. Забудь меня. Уходи...

– Нет. Я уйду отсюда только с тобой, – он демонстративно бросил на пол сумки.

Так они стояли молча друг напротив друга.

– Мрр-ряу! – громко мяукнула кошка, которую Мариам резким движением сбросила с рук.

– Хорошо, – ответила спокойно, гневно сверкнув глазами.

И тут произошло что-то непонятное, непостижимое. Мариам поднесла руки к своему лицу и, не меняя выражения, так же молча, стала сильно царапать свое лицо ото лба – вниз, и по горлу. Ее лицо сразу

покрылось тонкими извилистыми линиями порезов, из которых просочились капельки крови.

– Уходи, прошу тебя, уходи. Или я расцарапаю себя до костей.

XXX

Через несколько дней Гурий вернулся, но дверь в келью Мариам была заперта. Он стучал, дергал дверную ручку, но никто в комнате не откликался.

– Она уехала в Египет, – сказал подошедший авва Серапион, в упор глядя на Гурия. В глазах священника читался упрек. – Она просила передать тебе твою недописанную икону. Подожди меня здесь, сейчас я ее принесу.

– А-а! – Гурий застонал, как от боли, прижав кулаки к глазам.

Глава 11

Пусто стало в мире. Гурий постоянно слышал ее голос. Облик Мариам чудился ему почти в каждой незнакомой женщине.

Он понимал, что они с Мариам – из разных миров, помнил ее слова о том, что монахини обручены Небесному Жениху.

Да-да, все правильно, все верно. Но ведь Мариам не монахиня! Она послушница – обычная женщина, живущая в монастыре. Сама же не раз говорила ему о том, что не приняла монашество, дескать, еще недостойна. Значит, никаких обетов верности никому не давала. Она свободна распоряжаться своей судьбой!

И почему за столько лет она так и не приняла монашество? Могла, но не приняла. Вероятно, боится оборвать последнюю ниточку, связывающую ее с нашим грешным миром. Не уверена, что этот действительно ее путь – навеки затворить себя в монастырских стенах.

И вообще, придумала она многое о своей жизни, приукрасила, нафантазировала! Не была она никакой блудницей, не танцевала ни в каких борделях, не снимала мужчин на египетских курортах! Уж он-то, Гурий, когда-то с этой публикой был хорошо знаком.

Или, может, она и в самом деле желает стать святой, новой Марией Египетской? Хочет прославиться своей святостью на весь мир?

Он раздобыл электронный адрес того монастыря в Каире, где жила Мариам, написал туда письмо на имя игуменьи. Получил сухой, короткий ответ, в котором игуменья просила попусту не тревожить сестру Мариам. «Ей, бедняжке, и без того сейчас трудно. Пожалуйста, не пишите нам больше».

Он не сдавался, в письмах упрашивал игуменью, чтобы она разрешила Мариам отвечать ему хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в полгода. Но больше не отвечала на его письма строгая игуменья.

xxx

Вся его тоска по Мариам изливалась в живописи. Он изображал ее в разном антураже и разных образах: у распятия – коленопреклоненной монахиней; у зеркала – с ползающими по ее телу змеями; обнаженной на волнорезе, в ореоле чаек.

Никогда ранее Гурий так свободно не работал кистью. Смело наносил на холст мазки масляной краски, каждая линия была лаконичной, исполненной экспрессии.

Иногда, вытерев ацетоновой смывкой испачканные руки, Гурий подходил к недописанной иконе Марии Египетской, стоявшей возле станка на книжной полке. Смотрел на смиренный и строгий лик великой святой. Он крестился и, взяв икону, прикоснулся губами к изображению.

В такие минуты он по-особому чувствовал присутствие Мариам – чувствовал предельно ясно, так, будто мог к ней прикоснуться. Мариам

гладила его бороду, тихо напевала какую-то бесконечно печальную восточную мелодию, позировала ему как прекрасная натурщица.

Глава 12

На Манхеттене, между Бродвеем и Пятой авеню, в районе 50-х – 60-х улиц, находятся фешенебельные гостиницы, бутики мировых брендов и дорогие магазины антиквариата и ювелирных украшений. В роскошных отелях этого района останавливаются крупные бизнесмены и политики; он – излюбленное место туристов, которым нравится глазеть на дорогие вещи в магазинах, проникнуться ощущением нескончаемого праздника «столицы мира».

Если вам случится оказаться на Манхеттене, обязательно возьмите такси и посетите эти кварталы, даже если у вас в карманах не густо.

Относительно недавно там открылся новый художественный салон, где выставлены на продажу картины, ювелирные украшения и антиквариат. Открытие прошло с большой помпой, впечатляющей даже для видавшего виды Нью-Йорка: собрался бомонд, были и представители городской власти. Пресса пестрела информацией об этом событии, на нескольких каналах ТВ крутили рекламные ролики и интервью с владельцем салона, в метро, на автобусных остановках и даже в аэропорту – повсюду замелькала реклама «Russian Modern Art». Такое название для салона, говорят, придумал сам хозяин – мистер Филипп.

Имя владельца «Russian Modern Art» было окружено различными слухами и легендами. Никто толком не знал, откуда этот мистер Филипп взялся, кто он такой, а главное – откуда у него столько денег?

Аренда помещения в этой части Манхеттена стоит наверняка сто тысяч долларов в месяц. А рекламный щит в аэропорту Кеннеди?! Вы что – шутки шутите? Разве это мыслимо размещать на год рекламный щит в аэропорту JFK? Да за такие деньги можно накормить и одеть население какой-нибудь голодной страны!

И вообще: чем он занимается, этот Филипп? В интервью прессе он называл себя «меценатом и покровителем муз». По его собственным словам, он заработал деньги на бирже Уолл-стрит и на аукционных сделках. А теперь, дескать, желает послужить не маммоне, а искусству, украсив прекрасный Нью-Йорк еще одной галереей, а заодно и познакомить американцев с лучшими работами современных российских живописцев.

Правда, поговаривали, что все его слова о меценатстве и музах – пустая болтовня, на самом деле он – тайный агент Кремля, сотрудник ФСБ в звании полковника, внедренный в нью-йоркский арт-мир для создания агентурных каналов в американском истеблишменте. Еще ходили слухи, что он крупный мафиози, что в «Russian Modern Art» вложены кровавые деньги. А вся эта шумиха с галереей им затеяна только ради того, чтобы занять связи с городскими властями и легализовать свои «грязные» мафиозные капиталы.

Что из этого – правда, а что ложь, мы с уверенностью сказать не можем. Какую только напраслину порой возводят на порядочных российских бизнесменов!

xxx

– Окей, парень, считай, что ты родился под счастливой звездой. Тебе повезло, что встретил меня. Ты мне чем-то нравишься, наверное, своей бородой, – толстый мужчина лет пятидесяти пяти в черном элегантном костюме и белой рубашке сидел напротив Гурия в кожаном кресле с высокой спинкой.

Его мясистое лицо было гладко выбрито, под длинным, ровным и острым, похожим на клюв, носом расположилась щеточка аккуратно остриженных усиков. Светло-русые прямые волосы были коротко подстрижены и зачесаны набок. Он выглядел бы холемым сибаритом, но этому мешал тяжелый взгляд темных глаз – неподвижных, как у холодного, скользкого удава.

– Твою монашку мы завтра выставим во втором зале, за тридцать кусков. И другую твою картину – кающуюся Магдалину со змеями, я тоже покупаю. Тоже за тридцать кусков. О’кей? – задумавшись, мистер Филипп поднес к носу кулак и глубоко вздохнул, отчего его плечи под пиджаком приподнялись, а грузное туловище еще сильнее раздулось.

Затем он выдвинул ящик стола и стал вынимать оттуда пачки новеньких соток.

– Это твой аванс, – он аккуратно сложил деньги невысокой стопкой и пододвинул ее к Гурию. – Здесь пять кусков. Пересчитай. Когда картины продадутся, получишь еще столько же. Контракт у менеджера. Если что-то не устраивает, можешь сразу уходить, чтобы я не тратил время. Таких нищих непризнанных гениев в Нью-Йорке – пруд пруди. Рыщут, как голодные шакалы. Ваша художественная братия – извини меня, полное говно. Даже художники с именем готовы лизать мои туфли.

Зазвонил мобильник на столе. Мужчина, скривив лицо, нажал пальцем на экран, отменив звонок:

– Шумяков. Все ему мало, хочет мне опять впихнуть кого-то. За тебя бабки он уже получил.

Гурий молча выслушал эти оскорбительные слова. По большому счету все же это неслыханная удача: две его картины будут выставлены в арт-салоне, в самом сердце Манхэттена!

– А ты, парень, что, деньги не любишь? – неожиданно спросил мистер Филипп, потому что за все время их разговора Гурий ни разу не взглянул на лежащие перед ним пачки. И это не могло не вызвать у мистера Филиппа неподдельного удивления.

– Почему же? Люблю, – Гурий сгреб деньги со стола, ловко зажал две пачки между пальцами и начал привычным движением пересчитывать купюры; сразу стало ясно, что в прошлые времена ему приходилось иметь дело с крупными суммами наличности и приходилось их быстро пересчитывать.

– Хорошо, парень. Рисуи свою бабу дальше и приноси мне. Красивые бабы пользуются спросом во все времена.

XXX

Прошло немного времени, и Гурий обнаружил, что по натуре мистер Филипп – настоящий русский хам, а по образу ведения дел – бизнесмен-хищник. Этот тип галерейщиков Гурий хорошо знал еще по тем временам, когда занимался живописью в Одессе. Правда, размах у мистера Филлипа был несравнимо шире. При этом он обладал еще и хорошим художественным вкусом, умел отличить подлинное искусство от подделки, и это в их отношениях сыграло определяющую роль.

Восемь картин Гурия были проданы, и две новых должны были выставить на продажу в ближайшее время. Его картины висели уже не в дальнем углу последнего зала в салоне, возле пожарного выхода, а ближе к центру, к холстам современных российских художников, чьи имена на слуху. Заметно увеличился и размер его гонорара – стопка стодолларовых купюр стала куда выше той, первой, и пересчитывать полученные деньги Гурию приходилось чуток подольше, чем тогда. Салон «Russian Modern Art» подписал с ним контракт на эксклюзивное право продавать принты с его картин. Условия контракта, правда, были грабительскими, и был он составлен так, что Гурию эта сделка едва ли сулила доходы.

Он оставил работу маляра в реставрационной фирме. Жил в прежней квартире, но снял и отдельную мастерскую.

Конечно, он был рад. Но голова его не кружилась от успеха, вернее, кружилась, но не до такой степени, чтобы все забыть. Он по-прежнему ждал Мариам, ждал письма от нее, ждал ее возвращения. Заработанные от продажи картин деньги тратил очень экономно, рассчитывая, что они могут понадобиться, когда Мариам вернется. Он ждал чуда. Представлял себе, что однажды придет домой, поднимется по лестнице, и она – у его порога. Или в один прекрасный день он заглянет в электронный ящик проверить почту,

– а там письмо от нее, из монастыря. Или кто-то из той коптской церкви позвонит на его мобильник. Например, Авва Серапион – сообщит, что Мариам в Нью-Йорке.

Чудо, однако, не случилось. Чудо откладывалось на неопределенный срок. Чудо вообще могло не случиться.

Иногда Гурия охватывала такая сильная тоска по Мариам, как если бы она умерла. Он все чаще видел ее во сне – умершей, лежит на полу в пустой комнате или в пустыне на песке. Проснувшись и наспех одевшись, он садился за руль своей машины и посреди ночи зачем-то ехал к той коптской церкви. Но там во всех окнах свет был погашен, двери закрыты. Побродив вокруг здания и повздыхав, он возвращался домой.

Глава 13

Однажды он остановил взгляд на недописанной иконе Марии Египетской, стоявшей на книжной полке. Его охватила сильная досада и злость. Под бородой дернулись желваки.

– Все из-за тебя! Если бы не ты, Мариам была бы со мной! – Не находя больше слов, он гневно засопел.

В холле в доме, где жил Гурий, находилось окно с широким длинным подоконником. На этот подоконник жильцы порой выкладывали им ненужную, но в хорошем состоянии домашнюю утварь, одежду, компакт-диски и т. д.

Гурий снял с полки икону Марии Египетской и, спустившись по ступенькам, положил ее на этот подоконник в холле. И вернулся к себе.

Ночью он плохо спал, душили кошмары. В очередной раз проснувшись, он вдруг подумал, что зря погорячился, надо бы спуститься и забрать икону обратно. Он поднялся. Но вместо того, чтобы идти за иконой, достал из холодильника банку холодного пива, выпил и лег спать.

А на следующее утро, выходя из дому, заметил, что иконы на том подоконнике нет – ее кто-то взял.

XXX

И с этого дня что-то стало меняться в его живописи. Нет, на полотнах была все та же женщина – Мариам, в разных образах. Картины были выполнены в замечательной, едва ли не безупречной технике. Но исчезла глубина и тепло. Женщина на картине была холодна, какими бы яркими и сочными мазками Гурий ни старался ее оживить.

Он постепенно перешел на «чистую эротику», писал свою героиню исключительно обнаженной, в надежде таким образом добиться эффекта. Его картины становились проще по замыслу и беднее по содержанию. Скажем, задумал написать рабыню в древнеримском цирке, которая кормит в клетке льва, но почему-то стал рисовать голую девку с банкой пива на мотоцикле «Харлей-Дэвидсон».

Чутье художника беспощадно подсказывало ему, что это не никакая не чистая эротика, а самая обыкновенная грязная порнуха. И летели на пол разорванные листы бумаги, и ломались пополам в его руках карандаши и дорогие кисти. И мазки масляной краски срезывались с холста металлической лопаткой и падали на пол кусочками разноцветной грязи.

Мариам больше не являлась к нему во снах. Ее образ стал расплывчатым и далеким, словно и не существовал никогда. Гурию теперь приходилось пользоваться услугами обычных натурщиц.

XXX

– Сколько раз тебя просили, коз-зел, не надоедать мистеру Филиппу! Ты что, русский язык не понимаешь?! Он же тебе сказал, что ему твоя мазня больше не нужна, – заломив ему руки за спину, Гурия вели к дверям два мордворота-охранника.

Он пытался вырваться, извивался.

– Он мне должен бабки за картины, десять тысяч баксов, – хрипел Гурий, пытаясь выдернуть руку.

Ему почти удалось вырваться, но один из охранников схватил его сзади за волосы и крепко потянул, а другой сдавил Гурию горло:

– Ты что, гнида, не понимаешь, с кем имеешь дело? Ты имеешь дело с серьезным бизнесменом, меценатом. А ты кто? Ты – чмо болотное. Это ты должен хозяину бабки, а не он тебе.

Они уже стояли у наружных дверей салона. Один из охранников потянул дверную ручку на себя:

– Запомни: еще раз придешь сюда со своей мазней или будешь надоедать звонками боссу – вызовем полицию. И поедешь в Райкерз-Айленд, греть американские нары. Думаешь, мы не знаем, кто ты? Все знаем, все проверили. Ты еще в своей сраной Одессе не отсидел за свои художества, коз-зел!

И охранники вытолкнули Гурия на улицу.

xxx

Никита держал металлическую ложку над огоньком зажигалки. Внимательно смотрел, как в нагревающейся воде на дне ложки быстро растворяется серый порошок.

Два шприца уже были вынуты из целлофановых упаковок и, еще пустые, лежали на столе.

Гурий сидел напротив Никиты, наблюдая за тем, как тот погасил зажигалку и положил в ложку ватку-фильтр. Взял шприц и стал медленно втягивать в него через ватку мутноватую жидкость. Все это Никита проделывал молча, словно боялся, что любое лишнее произнесенное слово может нарушить священный ритуал. Оно и понятно: одно неточное движение – и бесценный раствор пролит, и – все пропало.

За окнами моросил унылый ноябрьский дождь. Они сидели в комнате Гурия, где повсюду валялись бутылки из-под водки и пива, на полу –

поломанные кисти, использованные презервативы, чья-то губная помада и косметички. В углу комнаты кучей громоздились разорванные холсты.

– Ок-кей, – наполнив шприц, Никита откинулся в кресле. Пристально посмотрел на содержимое в прозрачном цилиндрике. – Все-таки Америка – цивилизованная страна, каждый колется только своим шприцем. У нас, в Одессе, пацаны по-прежнему варят маковую соломку в кастрюлях и шприцы пускают по кругу, никаких санитарных норм. Оттого пол-Одессы болеет СПИДом. И всем на это наплевать. Дикари. Кстати, помнишь Валеру Троглодита? Недавно его нашли с простреленной головой в подъезде собственного дома. Вот так, жизнь – русская рулетка, сегодня повезло, а завтра... Ладно, Грек, хватит болтать, пора заняться делом.

Никита мелко вздрагивает и, закрыв глаза, медленно толкает поршень шприца. Рот его приоткрыт. По его спине и ногам наверняка сейчас растекается благодатное тепло. И спокойствие, тишина, безбрежная тишина нисходит к нему в сердце.

Оторвав взгляд от Никиты, Гурий “готовит раствор”, потом затягивает жгут на своей согнутой руке. Берет шприц. Вдруг словно видит перед собой женщину в черном платке. Женщина плачет, молится, хочет вырвать у него шприц. Он слышит знакомый голос у самого уха: «Брах-рам, Гури, ба-раб-ха...»

– Ты молодец, Грек, что позвонил мне, причем позвонил как нельзя вовремя, – говорит Никита, закуривая. – Итак: дело очень крутое. Из нашего одесского музея западного и восточного искусства украден «Поцелуй Иуды» Караваджо, там эта картина висела на втором этаже, помнишь? До сих пор удивляюсь, почему мы не взяли того Караваджо еще десять лет назад. Заказчик – в Германии. Сейчас наши люди картину перевозят в Болгарию. Там, на границе, мы их должны встретить и отвезти картину заказчику в Германию. Потом нам скажут, что делать дальше. Ты слышишь меня?

Гурий кивает. Он трогает пальцем острый кончик иголки. Он ни на миг не сомневается, что сейчас вместе с этим уколом, оборвется последняя

ниточка, связывающая его с миром нормальных людей. И тогда уже больше не хватит ни его сил, ни воли, чтобы остановиться.

– Брат, угадай, кто нас вывел на заказчика? – спрашивает Никита. – Хозяин «Рашен Модерн Арт», да-да, тот самый Филипп, который покупал у тебя за бесценок картины и продавал их в десять раз дороже. Прикидываешь? Этот Филипп – редкая мразь, я о нем кое-что знаю. Когда-нибудь расскажу тебе, как он однажды подставил двух наших пацанов, и они ушли на тот свет. Я вообще подозреваю, что Филипп и есть реальный заказчик Караваджо, а тот заказчик в Германии – подставной. Филипп потом переправит эту картину из Германии в Штаты и продаст ее кому-то в частную коллекцию.

Никита медленно подносит сигарету к губам и, даже не затянувшись, так же медленно удаляет ее от раскрытого рта:

– Эй, ты чего ждешь? Героин остывает. Провернем дело, получишь хорошие бабки, купишь себе хату, тачку, телку. Будешь жить жизнь. Втыкай, Грек, не пожалеешь, пошло оно все на хер...

Эпилог

Худой, как щепка, с исколотыми руками, с абсцессами на шее, в порванных джинсах и футболке, ходил Гурий по пустыне. Его изможденное лицо вытянулось, ввалившиеся щеки покрывала грязная борода, длинные нечесанные волосы свисали до плеч. Глаза его казались огромными, вернее, это были не глаза, а две темные глубокие ямы. От его отравленного опиумом тела и потной одежды исходил невероятный смрад.

Сколько дней он провел в пустыне, Гурий не помнил и знать не хотел. Даже не помнил, в каком отеле Египта он оставил свои вещи. Все это теперь не имело для него никакого значения.

Солнце жгло пустыню. Яркий свет заливал склоны величественных тысячелетних гор, безмолвных свидетелей жалкой человеческой истории, истории набегов, разбоя и бесконечных войн. В великолепии оттенков, в

строгости линий открывали горы свои бескрайние владения. Белый песок сменялся темной вязкой грязью, наслоенной на скалы. Он часто поскользнулся, скатывался вниз по склону и потом лежал, едва шевелясь, чувствуя, что его ослабевшее сердце не выдержит таких нагрузок и дыхание вот-вот оборвется. Проходил сквозь ущелья, где ненадолго садился на пыльную каменистую дорогу, чтобы передохнуть в тени. Иногда стоял на самом краю пропасти, над крутыми обрывами, где один неверный шаг мог навеки утянуть его вниз.

Несколько раз ему попадались пустые банки из-под пепси-колы и порванные корзины, наверное, брошенные бедуинами. Как-то раз он издали увидел их лагерь: люди в длинных черных балахонах и с покрытыми головами ходили возле больших черных палаток. Возле них стояло несколько легковых автомобилей, по лагерю бегали дети. На ближних холмах лежали верблюды и паслись козы.

Но не пошел к бедуинам Гурий. Не их он искал, и не они ему были нужны.

В своем последнем письме после многочисленных его просьб, игуменья монастыря в Каире неожиданно сообщила ему, что Мариам самовольно покинула монастырь и ушла неизвестно куда. «Никакими сведениями об ее нынешнем местопребывании я не располагаю».

Неизвестно куда? Гурий не сомневался, что Мариам удалилась в пустыню – совершать подвиг безмолвия, о чем она давно мечтала и что собиралась исполнить. Она сейчас здесь, в пустыне, и он найдет ее.

Ночью он лежал на земле, возле какой-нибудь еще теплой скалы. Съежившись, поджав ноги к животу, как жалкий котенок. Дрожал. Но стоило ему закрыть глаза, как тут же перед ним возникали таможенники, пачки долларов, стрельба, кровь... От этих видений он дико кричал, становился на колени и рыл грязь уже давно разодранными пальцами.

Как-то под утро, когда он то ли засыпал, то ли пробуждался, услышал он странный шорох. Это шуршали священнические ризы. Дед Ионос, в полном облачении, вышел из одесских катакомб и приблизился к Гурию.

– Здравствуй, сынок, – сказал дед. – Вот ты, наконец, и вернулся. Я так долго тебя ждал. Вставай, вставай, – дед помог ему подняться.

Рука его была очень легкая и, в то же время, крепкая, твердая. Он поцеловал Гурия в щеку. Потом взял маленькую кисточку и обмакнул ее в серебряную чашечку с елеем:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – произнес дед по-гречески.

Теплое, пахучее масло после прикосновения кисточки густо полилось по лбу Гурия, по щекам, закапало на грудь. Он хотел что-то сказать, но все слова уже как будто были им сказаны.

– Слава нашему Господу, что привел тебя, – сказал дед Ионос и перекрестился. Его запястья, выглянувшие из-под широких рукавов, были в крови от наручников.

И исчез дедушка Ионос, вернее, не исчез, но как будто отошел в сторону, встал поодаль, готовый идти следом за Гурием, кротко улыбаясь в бороду.

И заблагоухала пустыня елеем, и силы у Гурия прибавилось, и смог он идти дальше.

А вечером меловые горы становились пепельными. И трудно было взбираться на склоны, потому что ноги Гурия были слабы, и не за что было ухватиться худой руке.

И когда он полетел в какую-то глубокую яму и почувствовал, что у него больше нет сил подняться, снова послышался шорох ткани. И вышел к нему из воздуха монах Дамиан, в длинной рясе, перевязанной в поясе веревкой, и с капюшоном на голове. Монах поднял Гурия и, улыбнувшись, повел его вверх, по крутому склону, как по ровной дороге.

– Когда-то в Риме мы встретились у Собора Святого Петра и кормили птичек, помнишь? Мы тогда говорили о смирении и покаянии, о том, что Бог прощает любой грех раскаявшемуся грешнику. Прощает и щедро награждает, – сказал Дамиан по-итальянски, но Гурий понимал каждое его слово. – А я умер от рака в прошлом году. Но ведь смерти нет, у Бога все живы.

Они взошли на высокую гору. Дамиан устремил взор на восток, где в темном небе прорезывалась красная полоса восхода.

А потом пришла мама. Гладила его по голове. Целовала. И повторяла: «Сынок, Гурочка, вставай...» И он чувствовал на своем гноящемся обожженном лице ее теплые живительные слезы.

– Да, мамочка, да. Сейчас, только не плачь, не плачь, – просил он ее.

На равнине он срывал травинки и жевал, высасывая из них капельки влаги.

Недолго с ним шел авва Серапион, длинный и худой, широкими шагами, весело размахивая кадильницей. Говорил на коптском о том, что вот теперь у Гурия борода тоже вся седая и волосы тоже седы.

– «Любовь все прощает, всему верит, всего надеется...» – напевал авва Серапион, а Гурий ему подпевал.

И странным казался этот иссохший, грязный бородатый мужчина, бродивший по пустыне день и ночь и распеваящий псалмы. Как будто вернулись времена древних отшельников, кочевавших по пустыням всего христианского Востока Римской империи, спавших на земле и славословивших Бога своими песнопениями...

.....

Он сидел, вперив в нее взгляд безучастных, обезумевших глаз. Она лежала на песке, неподалеку от одной пещеры в горе. Лицом к востоку, со сложенными на груди руками. Близ ее головы, на песке были написаны какие-то буквы, но их уже так замело песком, что нельзя было различить.

Темная, протертая во многих местах власяница из верблюжьей шерсти покрывала ее обожженное, орехового цвета тело. Ее руки ниже локтей и ноги от колен вниз были высушены солнцем до самых костей. Кожа на шее и на лице была в толстых складках и морщинах. Собственно, это было не лицо, а выдубленная солнцем маска с выдававшимся вперед иссушенным коротким носом. Между приоткрытыми губами зияла трещина рта. Короткие волосы выгорели до пепельного цвета.

Ничто в этой мумии не напоминало Мариам. Быть может, это была мумия другой женщины. Ведь Мариам-то – не единственная женщина на земле, которая по своим причинам могла очутиться в этой пустыне и там окончить свой земной путь. Но смертельно уставший, едва ли не галлюцинирующий, измученный бессонницей и голодом, Гурий не допускал иной мысли. Он был уверен, что перед ним – Мариам, что Бог привел его сюда именно для того, чтобы он предал ее тело земле.

Неподалеку сидела ящерица. На власяницу умершей порой запрыгивали кузнечики, и ящерица как будто ждала удобного случая, чтобы на них напасть.

Гурий приблизил к ящерице руку, и та вдруг вскарабкалась на его ладонь. Ненадолго замерла, затем спрыгнула на песок и устремилась туда, где воет ветер и кричат голодные гиены.

Гурий думал о последних днях Мариам. Леденящий холод ночью, невыносимый зной днем. Дикая животные, ядовитые змеи. Не слишком ли много этого для одной маленькой женщины? Самой кроткой и самой мужественной женщины на Земле...

Он достал из кармана зажигалку и свечу. Прикрывая ладонями от ветра, зажег свечу и поставил ее у изголовья умершей. Но ветер тут же ее задул. Тогда Гурий подобрал какой-то камень, поставил его как заслон. И снова вспыхнул огонек.

Он решил: когда догорит свеча, предать тело Мариам земле, – это единственное и последнее, что он должен сделать. Потом он ляжет рядом, возле ее могилы, и больше не встанет. Он умрет возле Мариам, вдали от мира, которому подарил так мало прекрасного, зато принес столько горя...

Ему захотелось, чтобы все это случилось поскорее. Ожидание, пока догорит свеча, рытье ямы и предание тела земле казались ему тягостной обязанностью, которую он должен исполнить.

Солнце постепенно уходило за горизонт, изрезанный горами. Наконец, свечка догорела. Гурий стал на колени и начал рыть яму. Пальцами, локтями и обломком какого-то дерева, валявшегося неподалеку,

выгребал твердый песок. Потом залез в яму и уже оттуда выбрасывал песок. Глаза его были болели от песка и пыли и почти ничего не видели.

Когда яма стала достаточно глубокой, он выкарабкался наверх. Хотел было опустить тело женщины в яму, но не смог. Боялся притронуться к нему. Боялся, что оно рассыплется от первого прикосновения. В отчаяние, не зная, как быть, Гурий упал на песок и завыл.

Он не помнил, сколько прошло времени. Вдруг почудилось – у него над головой что-то звякнуло. Легонько так, как звякает цепочка. И странно запахло благовониями. И какие-то мужские голоса зазвучали над ним.

Он поднял голову. Над телом усопшей стояли два священника и монах. Дед Ионос, в голубых ризах, окунал кисточку в елей и помазывал ею чело усопшей, ее виски и грудь. Монах Дамиан читал молитвы. Авва Серапион, в длинной белой хламиде, размахивал кадильницей. Тоже сосредоточенно глядел на лежащую.

...Они пели над нею псалмы, то по отдельности, то хором. Стройно и величаво звучали их голоса под этим бескрайним закатным небом. «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Тво-о-е-я...» – пели три голоса, и к ним присоединялись новые и новые, на всех языках...

Сквозь слезы, по-новому прозрев, Гурий видел, как складки и морщины на теле усопшей медленно разглаживаются, кожа ее светлеет, а вокруг головы возникает свечение – золотое, с зеленоватым оттенком. Свечение распространялось вокруг и, проникая всё и вся, восходило к небу...

xxx

Утром солнце вошло над пустыней. Возле одной горы виднелся невысокий, свеженасыпанный холмик. Никого там уже не было. Только ящерица сидела неподалеку, подкарауливая саранчу.

А Гурий приближался к какому-то арабскому поселку. На ходу он то рычал и делал всем телом движения, изображая льва, ставшего на задние

лапы, то водил пальцами по воздуху, как бы рисуя что-то на незримом холсте.

XXX

Приблизительно через неделю после этих событий Гурий вышел из аэропорта «Кеннеди» в Нью-Йорке, взял такси и поехал домой. (Свою оставленную сумку с вещами и портмоне он все-таки нашел в каирском отеле.)

После величественной безмолвной пустыни Нью-Йорк казался Гурию совершенно нереальным, мистическим городом: потоки машин, рекламы, небоскребы, грохот...

Впрочем, весь этот грохот не достигал слуха Гурия. В его ушах лишь переливчато звякала цепочка кадила и звучали ангельские голоса: «Любовь все прощает, всему верит. Любовь никогда не перестает...» Это правда, правда!

Он знал, что Мариам жива – на земле ли, на небе ли – все это относительно и не столь важно. Ведь у Бога все живы, и Мариам будет вечно жить в его любви.

Такси остановилось перед домом, где жил Гурий. Расплатившись с таксистом, он вытащил из багажника сумку и вошел в подъезд. Преодолея последний лестничный пролет и...

Мариам сидела на верхней ступеньке лестницы, прислонившись к стене. Спала. Спала забавно так – приоткрыв рот и свесив голову набок.